

Представление фигур. Вишненные косточки с ромом

Есть такой неурочный и редкий час, когда по переулкам перестают брехать даже собаки. Когда всё спит. Всё замирает в Орле. Не всхрапнёт во сне даже губернатор... Да отчего же ему и не спать? Ибо на перинах из пуха пушкарских гусей спит, полагал Веня. Да рядом с пышнотелой черноокой полногрудой губернаторшей! После кофия. А может, и стопочки... Как тут не спать, сладостно, не дрыхнуть, не откинуться, от, без задних ног. Герои ж не спят... Трудятся. Пока всё спит. Не смыкают глаз герои.

Литературные, гм...

Паче того, их авторы, незабвенные. (Всё ж-таки в ответе...)

Разбирается Веня. Доподлинно знает. Ибо является сам героем. Пусть и отчасти... Но – своенравным. Героям же закон не писан.

Полная, спелая, чёрная, как дёготь, была от сладости вишня.

Сидючи на постаменте (не без вальяжности), развалясь всею утробой в вольном широком кресле, Николай Семёнович Лесков не мог, не умел унять вишненного августовского зуда, то есть подчиняясь всеобщему сладостному чувству.

Напомним, Николай Семёнович сидел в окружении из такого же, как и он сам, только что героического ряда им же измышленных персонажей, как бы это сказать, перелицованных, что ли, переведенных почитателями-доброхотами из словесного разряда в скульптурный. Забронзовев, сии фигуры (головорезы и убийцы, горькие пьяницы, равно ангелы) перешли, само собой, из безродного (в основном) состояния в сословное. Должно быть, не случайно теперь Николай Семёнович так сидел, что как бы несколько отвернувшись от них (правда, не очень любил состоящих в сословиях). Да и то: глаза намозолили. Чувствовалось: перебраться то перебрались фигуры на площадь в Орёл, однако же от обездвиженности и полувекового безделья впали в депрессию и даже прострацию.

И вот надоело. Не выдержали.

1 Повесть «Восстание идолов» является второй и составной частью романа «На всём белом свете», печатавшегося в альманахе «Орёл литературный» на протяжении ряда лет, и в то же время отдельной и вполне самостоятельной вещью (прим. автора).

Всё полетело к чёртовой матери, статуйность, политкорректность, пропади оно всё пропадом... Национальный характер, он взял своё.

Чёрная меланхолия обернулась, скажу я вам, вседозволенностью и даже прямою разнузданностью. Да, господа!

Я это покажу вам на пальцах, несколько ниже.

Пока же просто скажу.

Фигуры пошевеливались. Слегка потягивались. И даже делали лёгкие приседания. И даже как бы под бравурную и бодрящую музыку, доставшуюся Орлу ещё от тех золотых советских времён, когда голос Левитана с утра разносил по тарелкам, по весям и городам вот это: «...и раздва, и три-четыре». И Веня делал тогда зарядку. И вот теперь. Даже все фигуры в Орле (не только героев) – сидящие (Лесков и Тургенев, тот, что в Городском Саду), летящие на коне (как генерал Ермолов, через дорогу от Николая Семёновича), стоящие (господин Бунин, на бугре, над стрелкой с подвесным мостом у слияния Орлика и Оки), все бюсты (Фета, у Дома литераторов, на улице, заметьте, тоже литератора Салтыкова-Щедрина, и главы тех шестерых с Леонидом Андреевым во главе напротив пыхающего дымом коня у гимназии, даже скромный бюст Пушкина и наследника его золотоволосого Есенина под спутанными ивами на Комсомольской у Польского корпуса Орловского университета), все потягивались... И разминались... Кажется, напрягались даже бесчисленные памятные доски с выбитыми на них именами и, опять же, в основном, разумеется, литераторов. Некоторые, обязан сообщить, барельефы с толстопузенькими поэтами (во фраках и кружевных жабо), с выдернутыми из штукатурки винтами (от движений) и вообще сбились на сторону и упали, рухнули наземь, пребольно ударившись о тротуары и при этом засыпавшись пылью и крошкой. Удивительное явление!.. Два барельефа, они покосились... Где, не скажу... И как-то так этак, что, ну, право же, съёжились... Возможно, что от прохлады. Но чудилось, что от страха... Изображения знаменитостей, видно же было, как бы даже неведомо отчего, правда, как бы лишились чувств. Как бы в испуге на стенах зависли. Возможно, что от невыразимости тех же чувств. От некоего

предчувствия... То есть в виду всеобщего безобразия, бунта и восстания в Орле литературных фигур, и, пожалуй, не только тех, которые имеют отношение непосредственно к литературе...

Одна лишь фигура никак даже не двигалась. В плаще... В революционном. Сидела, зябко кутаясь в оный плащ. Точнее, в революционную шинель, тонкую. Фигура товарища Дзержинского на углу весьма ухоженного здания (ФСБ) с гранитным козырьком-вестибюлем посередине, напоминающем мавзолей Ленина, с голубыми в два ряда елями у серых стен его в центре Орла по улице Брестской, параллельной более известной улице, опять же, само собой, литератора Ивана Сергеевича Тургенева. Феликс Эдмундович, затаясь, наблюдал за фигурами... Всмотривался... Вслушивался... В шорохи... Нога на ногу. Рукава в карманах. Однако же во взоре, в складках набрякших и тем не менее красивых до изумления век угадывалось внутреннее напряжение.

Кажется, Феликс Эдмундович чувствовал нечто уже назревавшее в воздухе. Некие поползновения. Ноздри истукана слегка раздувались. Тонкие губы сжимались в ниточку.

Когда бы Вениамин Иванович мог быть не в одном, а сразу в двух местах разом, он мог бы увидеть, как курсантик из Академии ФСО России (с улицы Приборостроительной) уже налаживал для Ф. Э. телефонную связь, подтаскивая к памятнику соответствующий аппарат и отматывая от него катушку с проводом, – дело в том, что Ф. Э., как памятник, принципиально отказывался от мобильной (читай, Федеральной и тайной) связи даже в часы общероссийских смут, шухеров и облав, не говоря о губернских, даже когда соединяли со Сталиным, – (так говорят, то есть, что они соединяются, памятник – с головою Сталина, головою из чистого мрамора, которая, мол, там, в подвалах у ФСБ лежит, якобы, рядом с головою Берии. Не знаю. Не входил. Не видел. Не приглашали. Поинтересуюсь у Вени. Веня всё знает).

Но Веня в эту минуту находился в другом месте.

Веня сидел за широкой спиной Николая Семёновича, за массивной спинкой дивана, притулившись к дальней его задней ножке и тоже

как-то скукожившись. Да что там! Веня так мелко-мелко постыдно дрожал от великого страха.

Над головой Вени (между тем) разливался густой вишенный запах.

Не будем говорить, с чего вдруг Веня оказался у памятника. Долго. Но вот оказался, и всё тут.

Вздражал же Веня и спрятался (Веня потом даже залез вовнутрь под диван между раскоряченными ножками), да, вздрожал Веня с той самой минуты, когда с пьедестала на глазах у Вени бухнулся вниз (то есть спрыгнул) статуя!

Ну да, взял да и бухнулся наземь Аркадий Ильич! Ага! Тупейный художник, значит. Низвергся со звоном и грохотом, туфлями-то, из бронзы, всем своим тяжким составом и позументом вниз, да оземь, о парапет, как что гранит не треснул!.. Мамочки! Как что ищѐ в штаны не наделал Венечка!

А прыгал-то не без изящества, не без кокетливости даже, попридержав руками камзольчик, с расческою на отлёте, стройный такой весь из себя, завитой и ухоженный, быдто с картинки. И, значит, прыг-скок через дорогу, бух-бух через переулок Архангела, по булыжнику-то, а – всё-таки неимоверная тяжесть, – от подковок, быдто из-под камня точильного, искры, таким цугом... Да прямо Венечке в очи. А не подглядывай!

Глазам не поверил Венечка. Мастер завивки и укладки волос, от, на забор взлез.

С забора сиганул, и не куда-нибудь, прямо во двор бывшего Вениного дома – ну да, того самого, по улице Карачевской, двенадцать дробь три, где жил теперь Манечка (сыночек Венечкин).

Вот тут-то и двинулся окрест чумной вишенный запах.

Да!

Статуя лакомился вишней!

Да так, от, господа, что жрал её с листьями. Что делал... Вставал, от, на цыпочки, а то прыгал, хватаясь за купы, гнул к себе ветки, собирая их в веники, и обирал ягоду – взхлѐб и в засос, значит, таким маниакальным свихнувшимся от сладости автоматом. Оно и понятно, с полуторшлетней (по смерти своей), с полувекового (по увековечиванию в бронзе) стояния на постаменте и с голодухи.

Когда бы такое и с вами, и вы б, господа, зажрались.

Треск и шум стоял за забором, качался двор, ходил ходуном зелёными купами, плыл и летел на Николая Семёновича вишенным ломаным давленным на зубах, разоряемым статуей садом.

Август, господа!

Веня ещё не видел, как раздувались ноздри у Николая Семёновича. Как жадно дышал он. Как изнемогал от вишенного зова и сладкого зуда литературный каменный идол.

Аркадий Ильич же чуял.

Когда и успел наполнить? И где её взял, сию с изморосью и туманцем и даже в лёгком морозце ёмкость и полость? Неважно... Какое нам дело?..

Как если б с самогоном перед мужиками выставил перед Николаем Семёновичем Аркадий Ильич оцинкованное ведро с вишней, бьющее в нос вишенным духом, полное чёрного блеска! Слева поставил от Николая Семёновича. На скамью. Сам с бидончиком прыгнул назад на постамент к актриске – угощать ягодой милую. Пока ночь, надо успеть насладиться. Там дальше некогда будет. С утра самого к постаменту потянутся орловские парикмахеры. Смотреть и учиться, как тупейный художник наводит марфет Любке. Как придаёт ей то обольстительное выражение в лице и даже в причѐске, от которого у орловских ценителей и по сю пору в головах не всё в порядке. Непревзойденное искусство.

На всякий случай отметим.

Скоро Любонька вся перепачкалась вишенным соком, перемазала себе платье, не отстирать, и даже весь тротуар заплела косточками. Да что с неё, со скульптуры, взять!.. Дворники утром косточки заметут.

Вернёмся, однако, к автору.

Будто озверел Николай Семёнович, говорил мне опосля Веня. Лапища сами потянулись к ведру. А брюхо, чрево то есть, – помню, поправился из деликатности Веня, – то есть, если иметь в виду непосредственно монумент, заявил Веня, у Николая Семёновича преогромное. Для него и ведра, прибавил, может, было мало.

Словом, до оскомины и икоты таскал вишню из ведра Николай Семёнович. Мало что объелся. Дык, не в пример Любовь Онисимовне, косточкой подавился.

Через эту косточку и случилась та вакхана-лия, которою вся жизнь Венина переменялась. А дело так было. Тут вот что такое случилось.

От спёртости дыхания в смертной судороге забился на постаменте Николай Семёнович.

Гранитная дрожь, сотрясая постамент и ближние здания, побежала от низа и даже до верха Карачевской. Только дымоходы на домах вспрыгивали. Правда, не падали.

Посинел весь, кончился б Николай Семёнович, и как монумент умер бы, распёрло б его, разнесло б на куски и вдребезги, когда б не Левша, убеждал меня Веня.

Напружась, Левша так сиганул, что с колонны прям на диван, благо сиденье претолстое, с того и вглубь не ушёл, а то мог в самую землю.

И, значит, обхвативши тулово истукана сзади и приподнявши его, брякнул великана сапогами да оземь, подошвами о броню, постамента то есть, – косточка выскочила. Николай Семёнович крякнул. Отдышался. Даже розовость пала на лицо. Может, от смущения. Может, от зарозовевшей луны со стороны гимназии. Правда, взволновался Николай Семёнович и потому испросил у Левши пахитоску, подымить, значит, для успокоения нервов, жалко, что ещё по молодости бросил.

– Пить запивался, и даже вусмерть, – отвечал Левша на просьбу авторскую, как передавал мне Веня, – табачком же не баловался. Нет у меня пахитоски.

Это, мол, по части казака Платова, состоявшего при особе императора. Платов, тот, да, корешковую трубку курил и даже не токмо в каретах, сидючи рядом с императором, но и в постелях люльку посасывал, так что весь от сапог и до чуба в копоти был. От этой копоти, мол, даже у императора кишочки в пузичке слипывались, как завод у блохи, сам казаку жаловался, Левша же, он от нагара печного так чёрен, – как-никак с утра и до ночи при плавильной печи. И нос оттого у Левши, как вишня, светится, пуговкой, и щёки лоснятся, будто у куклы – потому как сажа от углей, она жирная.

– Зубы мне заговариваешь?! – не удержался и осерчал Николай Семёнович. – Али от белочки и по сю пору ищё не отошёл? Я те про табачок,

а ты мне про угли. Иди вон к крайнему постаменту, изволь испросить у протопопа курева, али у дьяка... Известно ль тебе, попы в твоё время чадили не хуже казаков! У Ахиллы, чую, должна быть заначка!

Ну да. Вот тут-то. Чёрт тут, видно, сподобил Веню.

Выпнулся из-под дивана Вениамин Иванович, щеголь...

Одним и неуловимым движением (на самом деле семь было-таких движений) достал из штанов, открыл, отщёлкнул портсигар Веня, так это небрежно, поддев серебряную (84-й пробы) со Сталиным, с вензелями из генералиссимусовых инициалов, да с императорскими (не так смяк) орлами над чеканным победным профилем Сталина, поддел крышечку этак отращенным ноготочком, – крышечка отскочила с лёгким серебряным звоном, как на тех же шпорцах, которые позванивали на каблуках у Вениамина Ивановича, и не скажи, что коробочка с секретным запором, с замочком, с пружинкой, со звоном, так умел обходиться со сложным механизмом, так вот, один, только один Веня. Статуи обалдели.

– Вгощайтесь, Николай Семёнович! – Веня достал папироску, постукал полым донцем о крышку, чтобы выбить табачные крошки, подал пахитоску автору. Предупредительно катнул о кремень колёсиком зажигалки, поднеся её к кончику уже вставленной статуей в рот папироски.

Николай Семёнович затянулся.

– Спасибочки, Вениамин Иванович! Удружил.

Голос у статуи был громоподобный. Таким камнепадом упал, перекатом, гудом и рокотом.

– И меня выручил, мон плезир! – Левша склонился над Вениамином Ивановичем. Голос тоже, как из трубы шёл. От холстиной, внапуск на штаны, прожженной углями, в масляных пятнах рубахи Левши дохнуло на Веню горячим воздухом, как от кузнечных мехов, пылом и жаром раскаленных углей. «До сих пор не остыл», – мелькнуло в голове у Вени.

Веня просиял, то есть от полуторастолетнего жара.

И, право, видно было, как в одно время удовольствие растеклось по всей и без того вальязь-

ной фигуре сочинителя, и даже полы плаща у словотворца разгладились.

Левша ж пообещал Вене некий гешефт. Ибо, мол, будучи обязан славой автору, не может не возблагодарить Веню, сделавшему Николаю Семёновичу за так чрезвычайное одолжение, то есть с пахитоской.

Меж тем как уже случился новый конфуз.

Господа!

Посчитайте. Пожалуй, что две сотни, ну около того, около двухсот лет не затягивался Николай Семёнович. Так что тут же зараз сжёг полпапироски. Так затянулся, что аж надулся. Пустил дым изо рта – кольцами, и дале так пыхнул, как лошадь под Ермоловым, разом из ушей и ноздрей, что ещё один статуи, правда, самый мелкий, наземь, от, повалился...

Веня от восторга присел!

Не удержался ж на пьедестале Захария, ну, соборянин. Сам из себя весь щедушный и до того мелкий и тонкий, будто сто лет говел, благородно согбенный и стоявший вопросом, знаком, значит, таким, – быдто от ветра сдулся.

Надо сказать, упавши, фигура сильно смутилась.

Особо ж оттого, что сбился у иерея с головы клубук и съехала набок ряса, не без форсу, не без изящности приталенная, будто пришипленная прямо к хребту, причём что спереди, что сзади, так тощ был Бенефактов. Влипло сукно в хребет. А теперь ещё и скособочило стан Бенефактову. Нехорошо. Че ни чё, а скульптуре следует содержать себя в полном порядке, даже в идеале, прежде всего.

Подхвативши себя за пышные при всём при том и волнующиеся полы фасонистой своей одежды иерей засеменил в гору, к тому, коему был обязан нелепой своею фигурой и даже всею своею жизнью, всё одно спотыкаясь и путаясь в платье.

Перед постаментом фигура встопорчилась. И вот что она изрекла:

– Николай Семёныч! Ты б на сторону дышал! А!?. И, чай, не лошадь! Штобы так пыхать! Таким дыхом! Право ж, как верблюду! Так, от, набздеть, да ищё казённым дымом! – и тоже, как из граммофона, надреснуто и дребезжащее взнеслось сие из утробы Захарии, таким петушиным

фальцетом, местами же голосисто. – Нехорошо, Николай Семёныч! Мало нам днём выхлопных газов с дороги! Так и ночью с пьедестала табачный пердёж! У человек, верно, куры по клетям дохнут!.. Вишенкой не вгостишь?!

– Ты, Захария! Умиление моё! Конечно, вгощу! Не подавись только! Сам ненароком сдохнешь!

– Не в пример вам, – отвечал батюшка, – вишню я исключительно и с малолетства глотаю с косточкой! Очень пользительно для желудка! Потом – отменно задом выходит, по происшествии полусуток! Так прёт! Как те, самонаилутшие, зёрна кофия, с Азии, ну-с, которые из кишок у барсука али куницы выходят, – вишь, звери с кустов кофием, самым крупным и наиспелейшим, лакомятся, дале по дороге зёрнами срут, человеки ж ходят следом и собирают лакомство.

– Откуда знаешь? – полюбопытствовал Левша.

– Дык... – Захария глянул на Веню и опустил глаза. – Вень Ваныч, они вчера Катерине Львовне рассказывали про энтот самый сладостный кофий сказки! Я и подслушал. Будто запах у кофия, как у шоколада, да карамелями отдаёт. Ну и, мол, втихаря сварит он ей, Катерине Львовне, волшебный напиток сей. Катька ж обожает шоколады.

«Значит, и вчера я тут был... – мелькнуло в голове у Вени. – А не помню... И чё я ищё бабе такого наплёл!»

Веня полез в продуктовый карман и, правда, нащупал там не только пакетик, судя по всему, с зёрнами кофия, но и шоколадку. Гм...

Веня исподлобья глянул на каменную бабу справа от влюбленной четы, занятой поглощением вишни. Сердце у Вени бухнуло. Каторжанка, как показалось Вене, со сладострастной ухмылкой зыркнула от столба в сторону Вени. Да так жарко, ей-ей, с таким нутряным пламенем и томлением, что тут же и наскрозь, навывлет прожгла Веню.

«Изнылась, значит, баба по мужикам, живым то есть... И, вишь, как любит меня, душичка, не то что Евангелина Иоанновна, с утра и до ночи пилит и точит...»

Полтора года лет ждала Веню, подумалось ещё Вене, то есть с тех пор, как образовалась в сочинении. Вот это любовь! И тут, на цветущей площади, то есть, как преобразилась в скульптуру,

считай, до полувека стояла всё на одном, как бы даже на лобном месте, правда, среди черёмух, весною от ейных, от черёмух, вся в белом, подернутая будто негой, и так сладостно пахла, ждала, пока, от, придёт к ней Веня. Пока объявится он.

«Вот это верность! Така бабища, пышна, столь выпукла и округла, даже под балахоном видно, така, – чуял Веня, – с любовной тоски, ить, сомнёт, задушит в объятиях Веню, – опять же, сладко и густо вздрожал Веня. – Так пусть!.. Чем так жить! С такой любви, может, и нельзя не умереть!»

Чё-то, правда, така вот хрень взбрела в голову Вене.

Поташил же Веня для чего-то из другого, из курительного кармана, в придачу к портсигару, вышитый Евангелиной Иоанновной с алым сердечком и стрелюю – кисет, кисет голубого с зелёным клином атласа да ещё, как нарочно, с вишенными же бонбоньерками, этак – вразлёт, правда, торчавшими точно цыцьки, и горели они темно и сумно, как адский свет. Захария, тот даже стыдливо так опустил глаза.

«Чёрт!» – правда, несколько запоздало, спохватился сам Веня, то есть как бы Катерина Львовна не приревновала его к Евангелине Иоанновне с энтим прекраснородушным изделием.

Едва Веня распустил снурок, как над сквером поплыл одуряющий, прям валивший с ног, такой обалденный, господа, как бы сказал Веня, ох-ный запах.

Фигуры попадали. Даже тотчас.

То есть поспрыгивали с постаментов. На табачок.

Ну что ежели запах был гуще и оглушительней того, который валится наземь в Орле с июльских мохнатых лип. Золотистее...

Нежнее, нежели тот, что льётся с белых шатровых акаций в июне.

И даже при всём том тоньше того, который стоит в Орле в мае в черёмуховые холода, аккурат, когда город засыпан черёмухой, словно снегом, таким ситцевым серпантинном, перстями с веток, такой лёгкою вьюгой, такой позёмкой, с заносами...

С конца же апреля от вишни град розово-белый, стоит в озарении, и даже ночью Орёл нежно

светится, от самых дальних закоулков, с огородов и дач плывёт, поднимаясь до разноцветных куполов храмов, до жарких крестов колоколен византийский сей с розовой горечью, сей возвышенный и возгоняющий кровь аромат.

Так точно запашисто-ароматен и несказанен табачок Венин. Так что и фигуры, остальные то есть, с того поплыли. Съехали с колонн. Сгрудились округ Вени. Кроме Любки. Цаца продолжала жрать вишню.

– Вот это табачок! Таким не грех и некурящему побаловаться!..

– Вгостишь, Веня?!

– И меня, Вень Ваньч...

– И меня тоже... Самодельным и всамделишным. Закономным...

– Рубленным! Ядрёным!

– Убойным!

– Пахучим, Вень Ваньч, нежным...

– Со столь немислимым и сложным благообразным букетом... – важно, хотя и простужено, весьма убедительно прохрипел протопоп Туберозов.

– Духовитым и благовоным! – басовито гуднул дьякон Ахилла.

– Духоносным! – мать честна, крутнулась в цыганском фуэте, сверкнув босыми пятками, Грушенька, этакая вся тонкая и субтильная. Набралась, верно, умных словцов от Иван Северьяныча. Образовал её в правильном направлении лошади.

– И душеспасительным, господа! – поддержал друзей некурящий Захария.

Компания расступилась.

От столба, чуть задыхиваясь, переваливаясь уточкой, кто б мог подумать, подвигалась к компании детоубивца-душегубка и отравительница Катерина Львовна Измайлова.

– Чай, я тебе лучше вышью кисетик, а, Вень Ваньч, да поискусней, повздыхательней! Уж больно ентот аляповатый! А табачок ничего! Чую! И, правда, забористый! Я хоть и барыня, а тоже соскучилась по сигарке. На этапе была приучена. Бывало, тоску разгоняла самокруткой. Вгостишь Веня?! – Катерина Львовна, как-то само собой у ней получилось, качнула тяжёлой грудью, наехав на живописца, и чуть не пришибла персями Веню.

– Для Вас-то! Катерина Львовна! – от смущенья, верно, Веня тоже сапожком немножечко оступился и упёрся-таки носом в грудь Катерине Львовне!

– Ить, за пазухами душно у Вас! – совсем обалдел Веня. А дале понёс нечто и вовсе уже невозможное, несуразное и невразумительное. – У нас, Катерина Львовна, в Орле августы, правда, дюже несносные, в смысле духоты... Сбросили б балахон! Дерюжный-то!.. А я чё, я бы мигом смотался, туда-сюда, прикупил бы для Вас рубаху с кофтой, али пофасонистей чтоб – пеньюар! А?!

– Правда, простодушный ты человек, Веня! Как что ещё жив!.. – молвил Иван Северьяныч, то есть очарованный странник, то ли поправляя смятый бант на гитаре, с которою (под мышкою) соскочил с пьедестала, то ли настраивая её.

«Неужто Грушенька станет петь под аккомпанемент для компании?» – заныло сердце у Вениамина Ивановича.

– Специально для тя, Вень Ваныч! И споёт, и сыграет! Какой хошь романс! – как-то подозрительно точно в соответствии с мыслями Вени вымолвил Иван Северьяныч.

Засим конэсёр (коннознатец то есть) прибавил, теперь обращаясь к Катерине Львовне:

– Точно, жар, что ль, у тебя?. Как лошадь моя игренавая, загнанная мною, от, дышишь?

– Ну да, подзадыхиваюсь, воздуху ж недостаёт мне, – отвечала Катерина Львовна, – с тех самых пор, Северьяныч, как утопла я! Всё хватаю ртом воздух! Не нахватуюсь!

– Понимаю Вас и сочувствую Вам, – решительно тут вступил в разговор пригожий цирульник, обиравший вишню в саду, поправляя клешней волос, дымом и углями завитой на голове, далее хватаясь дланью за горло. – Я вот тоже, поскольку зарезанный, Катерина Львовна, то с дыркою, значит, в горле на колонне стою, стою и свищу горлом! Неприлично для памятника! От чего ни от чего, но устал от свиста премного, – и, развернувшись могучим торсом к Вениамину Ивановичу, – не одолжишь, Веня, – просипел, – удавчик, замотать горло?

– Что-с? А... С превеликим удовольствием. – Веня снял шарфик с шеи, который носил для форсу, подал Аркадию Ильичу. – Он у меня мягонький. Муся связала (дочка Вениамина

Ивановича, так назвал, ну что взять с Вениамина Ивановича)! Носите, Аркадий Ильич, на здоровье! А то у меня ещё есть кашне, шёлковое. Охфицерское! В самый раз вам! Под шинелку! В шифоньере у меня под нафталином пылится. Не принести?

– Отчего же... Тащи, коли не жалко! – не без снисхождения согласился зарезанный и всё ещё свиставший горлом цирульник. – Я, правда, как выбился в офицеры, токмо под пулями ползал, не до кашнев мне было, – сказал. – Теперь, от, восполню ущерб, что претерпел в моде! Не соблаговолите ли ишо платочек для Любы? – при сём стрельнул глазами в милую. – Газовый, штапельный али крепдешинный и чтобы с цветочками по закраинам, как бывает при дороге в ржаном с васильками поле? По бульвару и чтобы под ручку прогуляться ужас как хочется, этакими аристократами! Да, Вень Ваныч, недурно б было на плечи Любе справить и шаль какую, лучше всего алую. По ночам бывает что холодно.

– Господин императорский живописец! – (Для непосвященных: Веня любил писать портреты самодержцев, оттого и прозывался у орловцев так). – Вень Ваныч! – перекрывая сип записного франта, возвысил тут голос до труб органных дьякон Ахилла. – Мне бы вот тоже какую пилюлю, белого порошка в бумажке али клюквенного отварца для остужения головы! Я ведь тоже, как преставился, то есть с горячки помер, господин живописец, так и по сю пору лютым огнём горю, прям сатанею от зноя и звона, и черти, черти в голове и в бельмах прыгают! Извести бы их! А?!

– Так аспиринок вот! – Веня достал из штанов блистерную сверкающую упаковочку, надавил пальцем на прозрачный пузырь и, ковырнув, вынул с другой стороны подложки млечного цвету цельнолитое колёсико лекарства, засим подал его восхищенному дьяку: – Глотай!

– Благословение тебе в житницах и на крестцах твоих! – дьякон токмо не задушил Веню в медных объятиях в виду очарованности целлофанчиком.

Грушенька, этакая тоже вся литая, не хуже Катерины Львовны, но всё же потоньше и поизящней, зачем-то прыснула в кулачок, разогнула пальчики, медные-то, да потрепала Веню по

скуле, далее слегка обвила за шею, так что чуть не задушила Веню.

– Хороший мальчик мой! Изумруд мой яхонтовый! Ты вот что!.. – голос у ней тоже, как с патефона лился, с пластинки, с лёгким извивом таким, с приятною трещинкой, с грустной одышкой. Веня даже потянулся за спину товарке, нет ли там за спиною у ней аппарата какого. – Слышала я от товаров, гуторили на крашенной скамейке, прям подо мной, будто от удушья хорошо опрыскиваться и опаживаться спреем, пфукалкой такой, новое изобретение, – может, и для меня поищешь, пособишь... Не достанешь, Веня?! – дьяволица-цыганка опажнула глазищами Веню и будто какою сладкой отравой, язва, прожгла Веню. – Вишь, я, с тех самых пор, как Иван Северьяныч-то, по просьбе моей, от великой ко мне любви спихнули меня с крутизны на воду, я тоже, значит, как Катерина Львовна, залилась водою, сделалась утопленницей и теперь, вот, хвораю грудью, никак не отойду, не прокашляюсь...

– В восемь аптеки пооткрываются, – с готовностью отвечал Веня. – Мигом слетаю, одна нога здесь, другая там.

Потянулся тут Иван Северьяныч. Похрустел, разминаясь, пальцами. Поиграл кистями. Повёл набрякшими плечами и ну махать правой ручищей, будто вожжей, кнутовищем али нагайкой, как если б на дуэли татарской татарина засекал... Большой ведь умелец. Сомлев, приостановился, отдышался.

– Ежели така масть пошла, не отказался бы от штофа с ромом! – прокаркал, как ворон. – Правда, опять же, – сказал, – полтора года лет я, Веня Ваньч, ни в трактир ни ногой, ни в ресторан, ни в погреба ренсковые, ни полушки в рот не брал, после белой горячки-то, не хуже чем у Левши... Так что, Веня, давай, тем шибче ударит в голову!

– Щас, – умилился Веня (Веня, если сам, бывало, не мог причаститься в виду какой болезни, упивался, можно сказать, лицемерием пьющих, угощавшихся из его карманов, от винных, так сказать, погребов, потаенных, завсегда бывших при Вене, от щедрот Венечкиных). – Щас! –

повторил Веня и что-то пошептал губами. – Ага, энто у меня, значитца, двадцать первый будет – питейный – карман, который с клапаном. Слева и сбоку и немного спереди... Иногда, правда, сам путаюсь, – как бы извиняющее сказал Веня. – Здесь фляжечка!

Веня по новой полез в шелковое помещение, весьма, правда, глубокое, столь глубокое, что спускалось по самые яйца Венины, как бы согретья своим содержимым бесценное семя Вениamina Ивановича, достал из штанов некое плоское изделие, оплетенное золотистой ржаную соломкой с ломающимся светом на углах, с солнечным, с винтажною пробкой на широком горлышке со змием и яблоком (знаками искушения), на длиннущей льющейся серебром цепочке, закреплённой на корпусе.

Северьяныч только присвистнул.

– Дык, – бормотнул Левша, – и я, ить, не принимал полтора года лет, и тоже опосле белочки! Да ищо с проломленной головой! О парат ударился! Желал бы, а непозволительно. Запрещены мне возлияния! Ты вот что, Веня Ваньч, – синица мне весть принесла, в оконце твоё подсмотрела, – ты вроде как намеривался вскрыть себе череп, чтобы зреть в оном, где гнездятся твои видения!.. Можя, и мне, только насупротив, не вскрыешь, а подзащешь голову?!.. Дале уж и вгостишь ромом!

– Так в тебя ж щас бронзовая голова!.. – изумился Веня. – Я, конечно, не против. Но тут особенный, верно, нужен струмент.

– Замётано. У меня, Веня Ваньч, резцы такой закалки, что осият и дамасские стали, не то что слабые мягкие сплавы. Я тебе и так давно обещался выделить комплектацию. Когда ты ище тут с курой возжался, в день светопреставления, устроенном тобою в городе. В меня, ить, тоже молнией долбануло! В самую трещину на черепе! На Троицу и ту едва отошёл! Оно, опять же, стоишь тут стоймя. Ни сесть, ни тем боле прилечь не можно. Этикет! Какое здоровье! Словом, починишь мне голову! Предчувствую великое облегчение! И вот что. Поскоку как есть я истукан, можешь резать без анестезии...

– По рукам! – просиял Веня.